

Сатовский-Ржевский Г.Г.

Певец обреченного класса

Источник: Заря (Харбин). 1929. 14 июля. № 186. С. 3.

Второго июля 1904 года, по старому стилю, в глубине Шварцвальда, в небольшом курортном городке Баден-Вейлере, тихо, без заметных страданий, скончался Антон Павлович Чехов, и грамотная Россия отозвалась на эту смерть такою дружною волною самой неподдельной печали и жгучих сожалений, что даже оторванная от культурной обстановки родины и ушедшая с головой в злободневные интересы суровой войны русская армия почувствовала себя приобщенной к национальному трауру.

Чехов сошел в могилу четверть века тому назад, но между днями его смерти и двадцатипятилетней ее годовщиной помещается еще одна знаменательная дата, которую, говоря об Антоне Павловиче, памятным словом не обойдешь.

Я имею в виду момент, с коего ясно и бесповоротно обозначилась агония социального класса, певцом, бытописателем, печальником и подневольным сатириком-обличителем которого суждено было стать писателю, являвшемуся в то же время и лично типичным представителем этого класса, хотя бы и с наиболее положительной его стороны.

Не знаю, подходит ли, с точки зрения чистоты научной терминологии, наша старая русская «интеллигенция» под понятие «класса», но так как, с одной стороны, самое понятие это далеко неточно, а с другой – в нашем распоряжении нет слова, которым можно было бы обозначить место, занимаемое интеллигенцией в общественном строе дореволюционной России, я позволю себе сохранить за нею наименование «класса», испросив предварительно извинения у гг. экономистов.

Действительно, интеллигенция – не сословие, и если до Крымской кампании она почти сплошь выходила из дворянской среды, то после «эпохи великих реформ» стала быстро и интенсивно пополнять свои ряды «разночинцами», к числу коих, к слову сказать, принадлежал и А. П. Чехов, сын мелкого торговца из бывших крепостных.

Интеллигенцию не назовешь социальной группой, имея в виду, с одной стороны, ее стабильность, а с другой – просто ее численные размеры.

Даже под понятие социального слоя интеллигенция не подходит, ибо, не занимая самостоятельного места в исторических напластованиях общества, она в виде более или менее значительного вкрапления пронизывала решительно все общественные слои, начиная обломками поместного дворянства и кончая... люмпен-пролетариатом, разумеется, претерпевая при этом большую или меньшую деформацию и создавая множество разновидностей (см. «На дне» Максима Горького).

Итак, сохраним за интеллигенцией название «класса», – между классового класса, если хотите.

Прошу не пугаться этой кажущейся абракадабры: разве не додумалась новейшая школа математиков, так называемая «пифагорейская», до определения понятия ноля, как «единицы порядка, не заключающей единиц»?

И разве не «все дороги ведут в Рим», а с «поправкою на время» – в Византию, откуда в далеко допетровские времена к нам были занесены первые семена интеллигенции, в виде зачатка философско-церковной «образованности» после эллинистического периода, – образованности, прокаленной в огне контroversы византийских базилик?

А теперь предлагаю читателям сделать скачок во времени и взглядеться в «живую картину» известной уже нам русской интеллигенции. Не найдем ли мы в числе центральных фигур ее и Антона Павловича Чехова, «любимого» своего писателя, в котором создалась уже целая литература, сказавшая так много и почти не приблизившая нас к ясному пониманию его исторической роли?

Да, он здесь. Вот, – ей же ей! – я только что видел его собственными глазами.

Но вот он слегка нахмурился, снял пенсне, чуть-чуть наморщив лоб, и – его не узнать: словно сквозь землю он провалился, чтобы появиться совсем в другом углу «живой картины» и в другой роли. И опять надо долго всматриваться, чтобы отыскать дорогой и столь близко нам знакомый образ.

«Я давно собирался писать о нем, да все не могу связать воедино разрозненные о нем впечатления. Все они мне представляются в таких мягких, расплывчатых тонах» ...

Этот отзыв принадлежит Вл. Немировичу-Данченко, человеку наблюдательному, с хорошо «наметанным глазом» и не хуже того «набитой» литературной рукой, – которая, однако, отказывалась «подняться» на образ Чехова.

И если бы кое-кто еще из его библиографов и «воспоминателей» последовал примеру Немировича-Данченко, воздержался от опубликования своих наблюдений над Антоном Павловичем, духовная физиономия нашего дорогого покойника едва ли много потеряла бы для нас со стороны своей четкости.

Действительно, чем жаднее набрасываемся мы на каждую новую книгу или статью о Чехове, тем большее разочарование ожидает нас. По крайней мере, все «воспоминания», написанные об этом, во всяком случае, очень значительном человеке, отличаются, как на подборе, полнейшею незначительностью.

И когда, желая должно быть сгустить вынесенные из встреч и даже близкого знакомства с Чеховым впечатления, авторы прибегают к иллюстрации своих воспоминаний цитатами подлинных его слов, или изложением «действительных случаев», воспитавшемся в «пиетете» к литературному облику Антона Павловича читателю становится неловко, почти стыдно, или «неприлично», как передавала чувство стыда маленькая девочка одного из чеховских рассказов («он вошел в детскую, когда я была не одета, и мне вдруг стало так неприлично» и т.д.).

Кто не упоминал об «искрившемся, как вино, тонком остроумии» чеховских бесед? И, пожалуй, припоминая кое-что из подлинных произведений этого писателя, мы готовы были бы поверить мемуаристам на слово. Но дернет их, как говорится, «нелегкая» подкрепить свое утверждение «цитатою», и вера наша разлетается, как дым.

И взаправду, – что сохранилось у вас в памяти от этих мнимых доказательств чеховского остроумия?

Одно из своих самых незначительных открытых писем к приятелю А. П. подписал фамилией «Бокль», другое, деловое, которое он написал вместо редактора Тихонова, снабдив подписью «Нетихонов».

Однажды на прогулке по одному из людных подмосковных дачных мест А. П. окликнул шедшего впереди его знакомого не принадлежавшего ему фамилией Говорухи-Отрока, что рассмешило находившихся, по-видимому, в «послеобеденном» настроении компаньонов Чехова и заставило оглянуться кое-кого из прогуливавшейся посторонней публики, – и эта ребяческая выходка заносится в актив чеховского «неистощимого, искрящегося, как шампанское, остроумия».

Когда на вопрос какой-то недалекой посетительницы, – «кого, А. П., вы больше любите – греков или турок (беседа относилась ко времени греко-турецкой войны), Чехов ответил: «Сударыня, я люблю мармелад», – присутствовавший при разговоре М. Горький пришел в настоящий восторг, найдя подобный прием уклонения от ответов на глупые вопросы необыкновенно остроумным и ловким.

А организованный Чеховым в качестве дачной забавы еще в студенческие годы пресловутый «суд над евреем Левитаном по обвинению его в незаконном проживательстве в Москве, уклонении от воинской повинности и содержания негласной “кассы ссуд”», обошел, кажется, все «биографии» знаменитого писателя-художника, как одно из самых веских доказательств его свойств прирожденного юмориста.

Не маловато ли для создания столь прочной и широко распространенной репутации? А между тем, клянусь, я собрал все более значительное по этой части чуть ли не из всей литературы о Чехове. Ах, виноват, забыл: «караси в моем пруде дозрели до конституции».

Да, впрочем, чего можно ожидать от биографов, так и не согласовавшихся во мнении о цвете глаз писателя, который многие называли «голубым», что, по словам, кажется, Сергеенко, «составляло до смешного общую большинству знакомых А. П. ошибку, так как в действительности у него были серые глаза»?

Как видно, и взаправду образ Чехова отличался мягкими, расплывчатыми тонами, исключавшими возможность точного его воспроизведения. Поскольку дело касалось наружности, манеры, наконец, личного характера писателя, эта неуловимость не представляла и не представляет большой беды.

Гораздо прискорбнее, что чисто литературное значение Чехова, причины, несомненно, огромной обаятельности его литературного таланта, наконец, даже точная характеристика его чисто литературной физиономии, вызывавшей так много противоречивых о ней мнений при жизни писателя, так и остались до сей поры не уясненными и не уточненными, несмотря на то, что брался за это дело не кто-нибудь, а виднейшие наши критики и прославленнейшие из его приятелей-коллег, вроде Бунина, Куприна и Короленко, и что от дня смерти писателя нас отделяет четверть века, чудовищно насыщенная событиями и новыми откровениями.

Казалось бы, при таких условиях незачем пытаться и мне разрешить эту задачу, – да еще в газетной статье, да при почти полном отсутствии под рукой каких-либо литературных пособий.

Но я не был бы ни русским человеком вообще, ни журналистом в частности, если бы не попробовал утолить жажды из «собственного», – пусть ничтожно маленького, но непременно собственного, – «стакана».

И, быть может, хотя бы частично мне удастся это сделать, благодаря развивающейся с возрастом странной способности жить «двойной жизнью», к временному выхождению одного из моих «я» из общих для обоих телесной оболочки, почему, имея счастье принадлежать, по рождению, воспитанию и образованию, к среднему типу дореволюционной русской интеллигенции, я без всякого усилия способен и мыслить, и чувствовать совсем «не по-интеллигентски».

Но для чего же надо это?

А вот как раз для того, чтобы литературный облик Чехова, перестав носить «мягкие, расплывчатые тона», стал понятным и четким.

Психический самоанализ почти невозможен. Из всех доступных нашему прямому подсознанию вещей собственная личность наша наименее доступна.

И не только духовная личность: даже о собственной наружности мы имеем очень неточное и недостоверное представление. Память наша как-то странным образом не удерживает ее, да и стоя перед зеркалом, часть людей склонна видеть себя, как говорят французы, «ан-бо», а другая – «ан ле». Кто не знал людей симпатичнейшей наружности, которые всю молодость промучились уверенностью в собственном мнимом безобразии. Типичный пример тому – Л. Н. Толстой.

Еще труднее, конечно, «познать самого себя» с внутренней стороны, в смысле, влагаемом в подобный совет греческим философом Питтаком, цитируемым Сократом. Это почти столь же невозможно, как понимание сущности и даже механизма самосознания, для чего, как известно, нам недостает внешней точки опоры.

Чехов же был настолько типическою интеллигентскою фигурою конца прошлого века, т.е. кануна первой революции, что лишь очень немногие из русских писателей, и, конечно, не лучшие из них, могли установить отношение к нему, какое существует между познающим субъектом и объектом.

Многое в Чехове так и осталось до конца для русских интеллигентных людей непонятым и непонятным. Поэтому-то, при несомненной общей любви к нему, никому из русских художников слова не приписано такого множества противоречивых свойств и качеств, ни о ком не высказано так много совершенно неверных, почти «диких» суждений.

И – странное дело! – только эти ошибочные о нем суждения отличаются порой столь досадным для подобного случая единодушием.

Так, не существует, кажется, ни одного критического о характере чеховского творчества отзыва, который не считал бы основною чертою этого последнего его... юмор, что доводило кое-кого до сравнения А. П., – извините на малости! – с Гоголем.

Только, мол, все те же «незримые миру» гоголевские «слезы», вызванные в жизнерадостном, от природы одаренном светлым юмором писателе тяжелою русскою действительностью и болезнью, помешали Антону Павловичу до конца остаться беззаботно веселым юмористом (уж не в стиле ли Джерома К. Джерома?).

Какое глубокое непонимание гг. русскими критиками Чехова, алиас – самих себя!

Прежде всего можно поставить вопрос, существовал ли когда-либо и существует ли в среде русской интеллигенции хоть один чистокровный юморист, совместим ли этот тип с понятием о русском интеллигенте?

После такой оговорки необходимо заметить, что если бы, скажем, Гоголь не написал бы ни «Мертвых душ», где юмор почти незаметно переходит в злую сатиру, ни «Ревизора», насквозь пропитанного злобно-сатирическим элементом, а остался бы лишь при «Вечерах на хуторе», да «Миргороде», то и тогда бы он был писателем очень заметным, «без пяти минут» – великим.

При таких условиях действительно можно говорить о преобладании, хотя бы и неустойчивом, в таланте писателя «светлого юмора».

Но что же сохранилось бы от Чехова, если бы он не перешагнул шутя искусственно созданных для «Антоши Чехонте» границ, обусловленных сравнительно легкостью проникновения «новичка» в литературную область, котиравшуюся общественными манерами восьмидесятых годов ниже самых мизерных уличных листков? Ведь А. П. Чехов и начинается-то только там, где бесповоротно умирает Антоша Чехонте, да и в «Будильнике» заметил его, как говорят, Д. В. Григорович отнюдь не за «искристость» его «светлого юмора», а за очень далекие от юмора нотки, проскальзывавшие уже в ту пору в юношеских писаниях Чехова.

Юмор Чехова – не более чем напускная развязность очень молодого, естественно застенчивого и, вероятно, юношески самолюбивого человека. Позволительно думать, что и в жизни писателя юмор играл ту же роль: в маскарадном костюме всегда чувствуешь себя свободнее.

Но зато маскарадные костюмы никогда не отличаются высокою добротностью, что приходится сказать и о чеховских юморесках, на поприще которых Антона Павловича, наверное, далеко «обскакал» бы Аркадий Аверченко и многие его подражатели, если бы были современниками Чехова.

Нет, очевидно, сила и значение Чехова не в юморе.

Не менее ошибочно считать его «оптимистом», или, во всяком случае, отрицать в его творчестве ноты сознательного и глубоко-беспросветного пессимизма только потому, что некоторым из своих героев он влагает в уста идеалистические триады о грядущей разумной счастливой и красивой жизни, которую наши потомки увидят через 200 или 300 лет! Самая эта ссылка на чуть что не эсхатологические сроки свидетельствует скорее о безнадежности, чем о живой вере в лучшее будущее, и достаточно прислушаться внимательно к вечерним интимным размышлениям героя «Палаты № 6», опустившегося, но, несомненно, умного врача, чтобы усмотреть в ней хорошо продуманное «исповедание веры» самого убежденного пессимиста, остающегося, в сущности, никем и ничем не опровергнутым.

Дайте себе приятный труд перечитать от начала до конца все произведения Чехова кряду, и вы почувствуете, что основною стихиею его большой и глубокой души был какой-то темный страх, недаром же столь изумительно отраженный в небольшом одноименном рассказе.

Да, да, наиболее близкие писателю его герои, – а таковые существуют даже у авторов, «холодных как лед», – все находится во власти этого темного страха,

страха не только непонимания, но и недоверия к правде того, что творится здесь под «луной».

– Понимаете ли вы что-нибудь в этом (ссылка на заурядный жизненный факт)? – такие вопросы задают друг другу чеховские герои неоднократно.

Но встречаются и категорические их заявления:

– Не понимаю, ничего не понимаю!

Или еще ужаснее:

– Не знаю, ничего не знаю, Катя! Пойдем лучше завтракать.

Такой ответ дает своей чуть не духовной дочери старый профессор, когда обезумевшая от такого же, в сущности, страха перед жизнью, она истерически допрашивает его, «что же делать, где смысл нашего бытия»?

Откуда, однако, проистекает «страх» Чехова, – неужели только от сознания неизлечимости его болезни?

Но ведь именно как врач он знал, что люди, больные туберкулезом, переваливают за известную возрастную грань, могут жить годы и годы, дотягивая порою и до глубокой старости.

Нет, чеховский «страх» не личными переживаниями вызывается: это – смутное «предгрозовое» настроение целого «обреченного класса».

Типичный, повторяю, до мозга костей русский интеллигент позднейшей формации, сохранивший не только добродетели, но и многие пороки этого класса, он тем не менее не мог не заметить, что эта столь любимая им «почва» вот-вот грозит ускользнуть из-под его ног.

И временами на него нападает раздражение «обманутого» человека, подсказывавшее сатирические выпады против родной «социальной материи». Конечно, прежде всего достается от него пошлости закоснелой «интеллигентщины», вырождающейся в заурядную «обывательщину», но «рикошетом» его стрелы задевают и «кумиров», за insult, который ему не прощает своя же, наиболее близкая ему «по крови и духу» среда.

Чехов не дожил года с небольшим до нашей первой революции, и в этом я вижу особую милость к нему судьбы: не так-то легко было бы ему «пойти в Каноссу» струевских «вех»!

Чуть не три четверти столетия наша интеллигенция жила верою в то, что вожделенная «революция» отведет ей почетное место в жизни родной страны. О, конечно, в такой уверенности не было и тени «классового эгоизма»: жертвенность – ведь это один из первых пунктов интеллигентского катехизиса.

Но ведь и заключенным приятно видеть себя «на алтаре», а не «на живодерне», – как это произошло сейчас, когда наконец-то распропагандированные и вовлеченные в революцию полутемные и вовсе темные массы смели, с одинаково легким сердцем, не только «бюрократию» и «буржуазию», но и самую заправскую, сто лет «печалившуюся о народе» интеллигенцию, взяв за скобки всех «бар», всю «чистую публику».

Такого афронта интеллигенция не предвидела, еще менее мог «предвидеть» его Чехов, не доживший даже до опыта «освободительного движения» 1905–1906 гг. – опыта, продиктовавшего идеологическим вкладчикам «Вех» их первую покаянную.

Но кроме предвидения существует еще «предчувствие», туманное прозрение будущего особенно одаренными людьми – поэтами, к сонму которых принадлежал, несомненно, и Чехов, в «подсознании» которого наверное присутствовала мысль, что творцы и поставщики «идей» редко, – если не никогда, – получают счастье проводить их в жизнь: И. С. Тургенева многие называли «певцом лишних людей», обнаружить присутствие которых в рядах русской интеллигенции выпала ему честь.

На Чехова судьба возложила гораздо более тяжелую и менее почетную роль «певца» целого общественного класса, оказавшегося «лишним», а, следовательно, обреченным на смерть.

Лишним не потому, чтобы в нем миновала реальная надобность: без наследственно образованного класса культурная нация немыслима. А потому, что у превратившегося, – наконец-то! – в «жителя» (по собственному определению) «народушка» не нашлось для старой нашей интеллигенции места.

Так неужели же «новую жизнь» создаст темный носитель слепой физической силы, без участия представителя мысли, т.е., в сущности, того же «пролетария», но служащего обществу умственным трудом. Таких «чудес» история как будто до сего времени не знала. Воспрянет и на Руси «поросль от посеченного дерева Исаия», возродится и интеллигентский класс, в том или ином виде.

Но то будет «пролетариат» уже не только «мысли», но и «воли». Политическое и культурно-экономическое творчество требует людей иного «волевого закала», чем тот, коим обладал осмеянный и оплаканный Чеховым «обреченный класс». Однако и он дождется признания родиною своих бесспорных исторических заслуг, – светоча и очага русской культуры.

И произойдет это, когда восстановится на Руси традиция культурной преемственности, когда изменившие сыны купно с «взбунтовавшимися рабами» раскаются, образумятся и перестанут пожирать собственных престарелых отцов. Тогда-то возродится с новою силою и «культ Чехова», так много выстрадавшего за свой дивный дар художественного «прозрения», как и за принадлежность свою к обреченному классу.